

К.М. СТАНЮКОВИЧ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

К.М.Станюкович. Избранные произведения. В 2-х т. Том 1 //Издательство
«Художественная литература», Москва, 1988
FB2: Ustas, 2006-07-19, version 1.0
UUID: 13263D4D-93F1-4617-9862-70AE821CB7A3
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Исайка

(«Морские рассказы» #0)

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0013
III.....	.0023
IV.....	.0030
V.....	.0045
VI.....	.0051

**Константин Михайлович
Станюкович
Исайка**

Не только господа офицеры и баковая аристократия, но и все матросы звали этого щедедушного на вид, маленького, бледнолицего человека с типичным еврейским крючковатым носом, тонкими губами и серьезным и в то же время несколько пугливым взглядом больших, необыкновенно кротких черных глаз — не по фамилии, как обыкновенно водится, а уменьшительным именем Исайки. Другой клички ему не было, хотя Исайке уже минуло сорок и он был старым матросом, отслужившим шестнадцать лет, из обязательных в прежние времена двадцати пяти лет, в звании корабельного парусника, то есть мастерового, шившего и чинившего паруса.

Исайка давно привык к этой кличке. Он получил ее вслед за тем, как, бледный как смерть, тонкий, как спичка, в засаленном, рваном лапсердаке и в пейсах, явился, в числе других, в рекрутское присутствие, заседавшее в одном из городов Северо-Западного края, и, несмотря на свою узкую грудь и малый рост, на которые он так надеялся, услы-

шал роковое: «Лоб». Как ни рыдала мать и как ни кланялся в ноги военному доктору отец, Исайку «забрили». Забрили и почему-то назначили во флот (вероятно, вследствие малого роста) и вскоре отправили с партией в Кронштадт. Во флотском экипаже, куда попал Исайка, его с первого же дня стали называть не по фамилии, а Исайкой.

Так с тех пор он и остался на всю жизнь Исайкой.

«Не в кличке дело, а в том, чтобы на службе не били и не наказывали линьками и розгами!» — рассуждал про себя Исайка и несколько не обижался, что его зовут не так, как русских, тем более что отношение к нему матросов было превосходное и не лишенное даже некоторой почтительности. Решительно все, не исключая боцманов и унтер-офицеров, уважали Исайку, как вполне «правильного» человека, честного, тихого и усердного работягу в своем деле, и притом «башковатого» и с «большим понятием», умевшего, при случае, объяснить то, чего никто другой на корабле не мог. А Исайка, по словам матросов, «все мог». И говорил он так убедительно и

красноречиво, что его с удовольствием слушали, несмотря на еврейский акцент. Исайка, поступив на службу, сам выучился грамоте и читал не одни еврейские книги, а и русские. Он любил «заняться книжкой», что в те времена было редкостью среди матросов, в огромном большинстве безграмотных, и охотно беседовал о прочитанном.

Это-то и давало ему авторитет «ученого» человека, которым он умело пользовался.

Репутация Исайки давно установилась в экипаже, в котором он служил со дня поступления в матросы, и ни одно пятно не омрачило этой заслуженной репутации.

Правда, некоторые из матросов находили, что хотя Исайка и хороший человек, но все-таки «жид» и как-никак, а до известной степени виноват в том, что Иуда предал Спасителя за тридцать серебряников и что предки Исайки, хотя и отдаленные, распяли Христа. Однако личные качества Исайки, не способного обидеть даже мухи, а не то что предать или распять кого-нибудь, в значительной мере смягчали виновность его за распятие Христа даже в глазах нескольких отчаянных юдофо-

бов, среди которых особенно отличался категоричностью мнений рыжий и толстый писарь из кантонистов, Авдеев, рассказывавший про евреев самые невозможные вещи. Но и он в конце концов принужден был согласиться, что Исайка совсем не похож на «поганого жида» и не решится на «ихние подлые проделки». Убедило его главным образом то, что Исайка не жаден к деньгам. Последнее обстоятельство было хорошо известно Авдееву, который года три не отдавал занятых им у Исайки трех рублей, пользуясь его деликатностью.

И писарь высказывал иногда сожаление, что Исайка не выкрестится.

— Тогда вполне был бы форменным человеком! — прибавлял он.

Говорили об этом Исайке раньше и другие лица.

Отец Спиридоний, басистый иеромонах с Валаамского монастыря [1], бывший на корабле несколько кампаний священником, которому Исайка не раз вычищал и совсем заново вычинивал ряску, после того как отец Спиридоний бывал на берегу, — завел одна-

жды речь об этом щекотливом предмете.

— Очень уж ты, Исайка, добросердый и некорыстный человек, — говорил своим густым, несколько осипшим после «берега» басом отец Спиридоний, принимая от Исайки ряску... — Вот, например, чинишь ты слугителю божию и совсем чужой тебе веры и никакой мзды за сие не требуешь... Разве это не показывает в тебе, Исайка, истинно христианской добродетели?.. Другой вот и православный, а возьмет с попа гривенник, а ты жид, лишен благодати божией, а не берешь, — продолжал иеромонах, весьма довольный, что Исайка никогда не заикался о каком-нибудь вознаграждении за работу. — И знаю, что и впредь, ежели придется прибегнуть к твоей услуге, не откажешь. Не так ли, Исайка?

Исайка отвечал, что он всегда с удовольствием, если что починить.

— То-то и есть... Я и говорю, что в тебе душа христианская, даром что вера твоя, прямо ежели сказать, поганая. Уж ты не сердись за правду, Исайка, а все полагают, что поганая! — настаивал отец Спиридоний, и при

этом его полное, слегка опухшее лицо добродушно и весело улыбалось.

Исайка не возражал. Но, видимо, не желая продолжать разговора в этом щекотливом направлении, осторожно и почтительно спросил:

— Так вам ничего больше не потребуется, батюшка?

— Нет, ты, Исайка, постой. Я имею тебе сказать нечто.

— Извольте сказывать, а я буду слушать, — деликатно отвечал Исайка, склонив чуть-чуть набок свою курчавившуюся голову.

— Знаешь что, Исайка? Брось ты свою жиновскую веру... ну ее. Восприими-ка, братец, благодать божию и приобщись к лону чад православных. Главное — жалко мне тебя, Исайка... очень уж ты добронравный человек, а между тем душа твоя пропадает. Верь слову: пропадает! Жидам на том свете ты думаешь где место? В геенне огненной, в печи, значит. А что им предназначено? Как ты полагаешь?

— Вам лучше знать, — дипломатически молвил Исайка.

— Уголья глотать! — категорически объяс-

нил отец Спиридоний и прибавил: — Перекрестись лучше...

— Что делать! Если уж милосердный бог такой на жида сердитый, как вы говорите, что велит горячий уголь глотать, я буду и уголь глотать, коли его на всех жидов хватит, а веры не переменю. В своей вере родился, в ней и помру, батюшка, — отвечал Исайка.

И, повертев в руках шапку, снова спросил:

— Так я, с вашего позволения, уйду, ежели вам больше ничего не требуется?

— Глупый ты человек, Исайка, ежели не хочешь души спасти.

— Видно, и есть глупый, — согласился Ис-айка, и по его лицу скользнула тонкая, едва заметная улыбка. — А может, еще что починить требуется?

— Спасибо, Исайка. Пока все в аккурате... Вижу: глух ты к истине. А ты о моих словах подумай.

— Зачем не подумать? О всяком слове надо подумать — на то всякому человеку бог рассудок дал. И жида не обидел! — прибавил с едва слышной иронической ноткой Исайка и шмыгнул из каюты.

«Не внемлет!» — подумал, вздохнув, отец Спиридоний.

И, полюбовавшись отлично починенной люстриновой ряской, пожалел, что такому доброму жиду, как Исайка, во всяком случае придется плохо на том свете.

Была и другая, более серьезная, попытка на Исайкину душу со стороны одной пожилой адмиральши в Кронштадте, которая на склоне лет, после веселой жизни, имевшей мало общего с ее позднейшими взглядами на женскую добродетель и супружеский долг, расточала еще обильный запас чувства уж не на земные, а на духовные победы.

Исайка шил адмиральше ботинки (он был искусный башмачник и шил с «фасоном»), получая за работу «что пожалуют». Пользуясь тем, что Исайка казенный человек и прислан был к ней подначальным мужу экипажным командиром, адмиральша «жаловала» бессовестно мало, но за то не прочь была спасти душу Исайки, обратив его на путь истины.

И вот однажды, вручив Исайке двугривенный за работу изящнейших ботинок с французскими каблуками и милостиво кивнув головой в ответ на: «Много благодарен, ваше превосходительство!», адмиральша сделала несколько шагов, чтобы попробовать, ловко ли сидят ботинки, и, удовлетворенная, присе-

ла затем на кресло и сказала:

— Ведь ты жид, Исайка?

— Точно так, ваше превосходительство! — отвечал Исайка, отступая к дверям.

Адмиральша вздохнула и повела речь о заблудших душах. Говорила она не без одушевления об истине и духовном возрождении, о тьме и свете, видимо наслаждаясь собственным своим красноречием, и окончила речь советом креститься, обещая Исайке, кроме спасения духовного, еще некоторые материальные блага. Она знает, что Исайка хороший и честный человек, и попросит мужа, чтобы Исайку произвели в унтер-офицеры и оставили при берегу.

Предложение было заманчивое, особенно перспектива быть постоянно на твердой земле, которую Исайка всегда считал несравненно приятнее и удобнее морской стихии.

Он так внимательно и, казалось, проникновенно, не моргнувши глазом, слушал адмиральшу, стоя на вытяжке, с руками по швам, у дверей столовой, в которой происходило это духовное назидание, что адмиральша почти не сомневалась в спасении Исайки и, благо-

склонно устремив на него когда-то красивые глаза и встряхнув легким движением головы пару седых буклей, украшавших поблекшие щеки, не без некоторой торжественности произнесла:

— Ты, конечно, хочешь быть христианином, Исайка? А я буду твоей крестной матерью! — прибавила она и милостиво улыбнулась.

Понимавший сам и умевший ценить тонкое обращение и вообще по натуре очень мягкий человек, Исайка призвал на помощь все свое дипломатическое искусство и всю силу своей изворотливости, чтобы не оскорбить адмиральшу и не возбудить ее неудовольствия сколько-нибудь непочтительным отказом от ее столь любезного предложения. Да, признаться, вдобавок и трусил, как бы не вышло для него какой-нибудь серьезной неприятности. Мало ли что вздумает начальство? При одной этой мысли у Исайки упало сердце.

И он начал с того, что несколько раз низко и усердно кланялся и благодарил, что такая превосходительная барыня удостоила обра-

тить на недостойного Исайку свое милостивое внимание. Смел ли он ожидать такой чести?

И Исайка продолжал кланяться и благодарить в самых изысканных выражениях, какие только мог придумать, однако на вопрос адмиральши не отвечал и даже рискнул от благодарностей довольно ловко перейти к предложению сделать ее превосходительству летние башмачки самого последнего заграничного фасона, какие привезла из Парижа адмиральша Гвоздева.

— Я у их видел эти башмачки... Ай, какой красивый фасон, ваше превосходительство, ай, как аккуратно сработаны! — восхищался Исайка. — И обойдутся всего два рубля с моим товаром! — прибавил Исайка, решившись приплатить свои полтора рубля, чтобы только задобрить скупую адмиральшу и отклонить ее внимание от спасения его грешной души.

Адмиральша благосклонно приняла предложение и расспросила Исайку в подробностях о заграничных башмаках адмиральши Гвоздевой, и Исайка думал было окончатель-

но откланяться, пообещав постараться над башмаками и доставить их через пять дней, как адмиральша просила:

— Что ж ты, Исайка, на мой вопрос не ответил? Хочешь ты креститься?

Исайка принял вдруг серьезный и таинственный вид, и, понижая голос, проговорил несколько конфиденциальным тоном:

— Никак не смею, ваше превосходительство.

— Отчего не смеешь?

— Из-за папеньки и маменьки, ваше превосходительство. Их жалко.

— Почему же жалко? — удивилась адмиральша.

— Они, ваше превосходительство, старые, глупые люди, живут в глуши и по необразованию своему скажут: «Разве можно свою веру менять, как, с позволения сказать, ночной „кустюм“, ваше превосходительство, и подумают, что ихний сынок Исайка продал свою совесть и поступил, осмелюсь доложить, как самый последний человек. Мои папенька и маменька люди без больших понятий, ваше превосходительство, не знают, какая вера са-

мая правильная, и спросят: „По какой такой причине, Исайка, русские не меняют своей веры и живут, в какой рождаются, а ты, Исайка, переменял, а?“ И скажут: „Будь ты за это проклят, Исайка!“ И будут всё плакать и плакать, что у их такой сын, и с горя помрут, ваше превосходительство! И мне будет очень стыдно и обидно, если из-за меня папенька и маменька помрут. Ай, как стыдно! А за ваше милостивое внимание к моей грешной душе дай бог вашему превосходительству счастья и здоровья... И господину супругу вашему и деткам... Не прикажете ли и им сапожки сделать? — неожиданно прибавил Исайка и снова закланялся.

Не лишенная находчивости ссылка Исайки на папеньку и на маменьку, которые давно уж мирно почивали в могилах, доводы, вложенные Исайкой в уста этих «глупых» людей и, наконец, действительно баснословная дешевизна башмаков, обещанных Исайкой, — все это вместе произвело на адмиральшу благоприятное впечатление, и она ввиду затруднительности положения Исайки не настаивала более на спасении его души и даже

похвалила Исайку за его любовь и почтение к родителям.

— Мальчикам пока не надо сапог, Исайка. У них еще хорошие.

Значительно успокоенный и даже повеселевший Исайка сентенциозно заметил, что «всякий человек должен почитать родителей», и прибавил:

— Так на башмачки пряжки прикажете поставить, ваше превосходительство?

— Не лучше ли банты, Исайка?

— Как прикажете, ваше превосходительство, но только, осмелюсь доложить, пряжки будут прочнее бантиков... Конечно, можно и бантики, но последний фасон — пряжки, и у адмиральши Гвоздевой на башмачках пряжки.

— Так поставь и мне пряжки.

— Слушаю, ваше превосходительство.

Исайка теперь не спешил уходить, уверенный, что щекотливого разговора больше не будет. Заметив хорошее расположение адмиральши, он возымел смелую мысль: в свою очередь воспользоваться адмиральшей, чтоб избавиться при ее посредстве от плаваний и

устроиться при берегу, не рискуя собственной душой.

И, осторожно переступив с ноги на ногу, он сказал:

— А уж я, ваше превосходительство, постараюсь, чтобы башмачки вышли не хуже заграничных. И завсегда, что изволите приказать, сработаю на первый сорт и вам и молодым барчукам. Вот только летом никак не могу, потому в море посылают... Летом самый износ сапожкам у молодых барчуков, — подчеркнул Исайка, — а Исайки нет... Будь я при берегу, ваше превосходительство, тогда и ежели насчет починки, и новые сапожки... Только извольте потребовать.

— Что ж, я скажу мужу, — промолвила адмиральша.

— Премного буду благодарен, ваше превосходительство! Счастливо оставаться, ваше превосходительство! — ответил обрадованный Исайка и, повернувшись, как следовало по форме, налево кругом, вышел.

Однако Исайка при берегу не остался и в то же лето был отправлен в плавание. Адмиральша забыла про свое обещание и вскоре

после разговора с Исайкой переехала с мужем в Петербург, и Исайке просить было некого. Да вдобавок, им и дорожили на корабле как отличным парусником.

Но зато с отъездом адмиральши уже не было больше ни с какой стороны попыток спасти Исайкину душу, и он, твердый в своей вере, свято исполнял предписанные его религией обычаи по мере возможности. Необыкновенно религиозный, Исайка каждую пятницу по вечерам, на берегу ли, в плавании ли, забирался куда-нибудь в укромный уголок и, накинув на себя молитвенный плащ, долго и горячо молился, распевая тихим и гнусавым голосом свои однообразные и монотонные канты. Бледное, худое лицо Исайки с большими черными глазами в такие минуты светилось восторженным умилением и какой-то тихой скорбью, и голос его дрожал от наплыва религиозного чувства.

О чем он молился? Чего просил?

И никогда никто из матросов не позволил себе ни насмешки, ни какого-нибудь оскорбительного замечания. Напротив! Все с осторожной почтительностью обходили стоявшие

го на молитве еврея, и многие, дивясь его восторженной молитве, тихо, в каком-то удивленном раздумье говорили:

— Жид, а какой старательный к своему богу Исайка!

Не ставилось в осуждение Исайке и его боязни моря, особенно когда оно начинало волноваться, и какого-то непреодолимого, чисто физического страха к риску и опасностям, сопряженным с настоящим матросским делом.

Действительно, Исайка не мог побороть в себе этого чувства, и из него, конечно, не вышло моряка. Все шестнадцать лет своей службы он пробыл «нестроевым», занимаясь мастерством парусника. Ни разу не мог он подняться до марса — трусил и, переступив несколько вантин, спускался, чувствуя себя на палубе бесконечно счастливее, и не решался более повторять этих добровольных попыток в начале службы, так как звание нестроевого избавляло его от специально матросского дела. И только во время авралов, когда вызывали всех наверх, Исайка должен был исполнять обязанности простой рабочей силы: вместе с другими тянуть вниз, на палубе, какую-нибудь снасть, стоять у вымбовок на шпигеле, при подъеме якоря и т.п., что он и ис-

полнял всегда с замечательным усердием. Он добросовестно «трекал» снасть или наваливался грудью на вымбовку, напрягая все свои слабые силы и полный самолюбивого задора показать, что и он может работать не хуже других.

Но всего, что было на корабле выше палубы, он боялся и с боязливым почтением взглядывал на верхушки высоких мачт. При одной мысли о том, что его вдруг могли бы послать в свежую погоду крепить марсель, стоя на веревочном перте стремительно качающейся реи, или на зарывающийся в воду бугшприт — убирать кливера, Исайка весь холодел, жмурил глаза и как-то беспомощно отмахивался, словно от страшного призрака, своими маленькими и худыми, совсем нематросскими руками, с тонкими костлявыми пальцами, мастерски владевшими громадной парусной иглой.

— Таким уж, значит, пужливым Исайку господь создал, а он не виноват. И рад был бы, а не может. Нутро не принимает. Пошли Исайку, примерно, на брам-рею — со страху померет!

— И не доползет, а свалится в море.

— Совсем нематросского звания человек Исайка.

— И силенки в ем никакой нету.

Так о нем рассуждали матросы и, готовые осудить и поскалить зубы над всяким проявлением трусости в товарищах, в суждениях об Исайке, с чуткостью понимания, прикладывали к нему особую мерку, и если некоторые старые матросы, случалось, и подсмеивались по этому поводу над Исайкой, то самым добродушным образом и без всякого намерения унижить или оскорбить его, тем более что и сам Исайка не скрывал своей слабости.

— Всего мне дал бог, — говорил Исайка, — и рассудка, и старания, и терпения, а вот матросской храбрости не дал, братцы... Видно, всякому человеку своя доля, и бог не желает, чтоб еврей был матросом... «Будь ты мастеровой и живи на сухом пути!» — вот что повелел господь еврею, — прибавлял Исайка, приписывая господа богу свои собственные заветные желания.

— А что, Исайка, ежели вдруг да старший офицер пошлет тебя на высидку на нок! —

шутил кто-нибудь из унтер-офицеров или старых матросов.

— Не пошлет! Зачем меня посылать?

— А за наказание.

— Пхе! За что меня наказывать? Я чиню себе паруса в подшкиперской, и никто меня не видит... И справляю свое дело аккуратно... Старший офицер умный человек...

— Умный-то умный, а ежели взъерепенится, так и ум потеряет... Мало ли за что можно придрататься зря... Точно не знаешь. Увидит тебя на палубе и крикнет: «Послать Исайку на нок. Пусть Исайка проветрится!»

В необыкновенно живом воображении Исайки, хорошо знавшем, какие бывают случайности на военном корабле, уже мелькало представление о возможности чего-либо подобного и мгновенно складывалось в яркую картину. И он испуганно восклицал:

— Ууу!.. Не может этого быть!

И вслед за тем так же быстро соображал, что это вздор и что с ним шутят, и сам улыбался и добродушно-спокойно говорил:

— А ты, Матвеич, не пужай. Я и без того пужаюсь.

В свежую погоду Исайка обыкновенно чувствовал себя нехорошо и тревожно, хотя его и не укачивало, и когда, случилось, большой деревянный корабль выдерживал трепку, стонал и скрипел всеми своими членами, Исайка, притихший, с широко раскрытыми глазами, шептал побледневшими устами молитвы, забившись в уголок подшкиперской каюты и прислушиваясь к бульканию воды, ударявшейся в борт. Наверх он не выходил в такую погоду, не желая глядеть на эти свинцовые расходившиеся волны, подбрасывавшие трехдечный старинный корабль, как щепку, и вселявшие в сердце Исайки панический страх. И он предпочитал пережидать бурю в одиночестве, в полутемной каюте, заваленной парусами и кругами веревок и тросов, не показываясь на глаза людям и не стыдясь вздрагивать и охать при каждом стремительном подергивании судна.

Но если свистали: «Всех наверх четвертый риф брать!» — Исайка с тоской на сердце, проклиная злосчастную свою судьбу, стремительно, однако, выбегал вместе с другими на верхнюю палубу и старательно тянул снасти, лё-

том перебегая с места на место, и избегал поднимать глаза на беснующееся море. Зачем на него, постылое, смотреть!

И в такие минуты, как нарочно, задорно пробегали мысли о маленьком спокойном угле где-нибудь на твердой земле, в котором он сидит в тепле, на маленькой табуретке, и тачает себе сапоги или башмаки самого последнего фасона, в то время как в голове толпятся разнообразные мысли насчет разных дел человеческих и божьих, которые занимают его пытливый и деятельный ум.

«Уж лучше бы забрили в солдаты!»

Трусливый сам, Исайка зато с каким-то особенным почтением и в то же время с замиранием сердца порой смотрел на марсовых, которые в такую бурю лихо взбегали по вантам, затем, словно гигантские муравьи, расползались по реям и, припадая к белому парусу, захватывали надувшуюся мякоть его какою-то невидимой силой.

— Уфф! — вырывалось из Исайкиной груди восклицание, выражавшее и одобрение и ужас, что вот кто-нибудь да сорвется и упадет в море или с шумом шлепнется на палубу,

размноженный и окровавленный.

Такие случаи бывали почти в каждое плавание и всегда потрясали Исайку.

И он поспешно опускал свои глаза и снова смотрел себе под нос, невольно проговорив соседу, словно бы желая излить свое восторженное изумление:

— Ай, какие же храбрые! И как они ничего не боятся!

— Кто это, Исайка?

— Да они, наши матросики! — шептал Исайка не без горделивого чувства за тех, которые были так непохожи на него.

IV

Но несравненно более качающихся рей и бурь боялся Исайка линьков, розог и кулачной расправы. Телесные наказания вселяли в него не один только панический страх физического страдания, но инстинктивный ужас позора поруганного человеческого достоинства. А оно было сильно развито у Исайки, как и у многих евреев, в нравах которых нет привычки к унижительным наказаниям, с детства знакомым русскому крепостному народу того времени.

Этот страх, доходивший у Исайки до какой-то болезненности и постоянно державший его в нервном напряженном состоянии боязни не вызвать чем-нибудь гнева в ком-либо из начальствующих лиц, обратился в привычку. И несмотря на шестнадцать лет благополучно проведенной службы, Исайка всегда был настороже, словно заяц, чуявший близость собак. Ведь в те отдаленные времена, когда матросов дрессировали жестокими порками за малейшую оплошность и когда самая жестокость была в моде среди моряков,

так легко и возможно было нарваться даже и при чуткой осторожности Исайки!

Исайка был необыкновенно чувствителен для того «жестокоего» времени. Вид обнаженной матросской спины, на которую с тихим шлепаньем падали удары линьков, наносимые сердитыми, подчас озверевшими унтер-офицерами или боцманами, под зорким наблюдением привыкшего к таким зрелищам офицера, это покрывающееся синими полосами с багровыми подтеками тело, эти покорные вначале стоны человека, переходящие потом в какой-то дикий вопль беззащитного животного и затем иногда совсем затихавшие от потери чувств, — наполняли душу Исайки невыразимым ужасом и состраданием. И когда ему случалось быть свидетелем таких наказаний, производившихся в некоторых случаях в присутствии всей команды корабля, Исайка, бледный как смерть, вздрагивая всем своим тщедушным телом, едва стоял на ногах и украдкой вытирал невольные слезы, страшась, чтоб их не заметили.

Само собою разумеется, Исайка добровольно никогда не решился бы присутствовать на

таких экзекуциях. Когда после учений и авралов раздавалось, бывало, приказание наказать кого-нибудь и побледневший матрос шел на бак, покорный или с напускным видом бесшабашного удальства, Исайка улепetyвал вниз, в подшкиперскую каюту, забивался в угол и, затыкая уши, потрясенный, взволнованно шептал молитвы, и его большие кроткие и испуганные глаза светились невыразимую скорбью.

— Жалостливый Исайка! — говорили про него.

А Исайка не только сострадал, но и невольно изумлялся выносливости и мужеству, с какими многие матросы выдерживали наказания, наводившие на Исайку такой трепет.

Особенно поражал его один из близких его приятелей, каким, по странному контрасту, был Иван Рябой, коренастый, широкоплечий, сильный и приземистый матрос лет сорока, лихой и бесстрашный марсовой, ходивший на штык-болт, то есть исполнявший самое трудное и опасное дело на ноке (оконечности реи), и при этом отчаянный забулдыга и пьяница, не особенно строгих правил человек, во

хмелю буйный и невоздержанный на язык. Рябого пороли довольно часто и допороли до того, что он, бывало, бился об заклад на чарку водки, что не пикнет до пятидесяти ударов. И действительно не ронял звука и только, бледный, с злобно-искаженным лицом, на котором блестели крупные капли пота, стискивал зубы. После выигрыша чарки Рябой начинал слегка вскрикивать. От крика, по его словам, «не так дух спирало». Получив иногда сто линьков, Рябой надевал спущенную с плеч рубаху и уходил, как встрепанный, выкурить трубку махорки. Затем обыкновенно спускался вниз к Исайке, который в подшкиперской чинил паруса, и говорил:

— Сотню, подлецы, всыпали, Исайка.

— Сотню? Ай, ай, ай!! — испуганно вскрикивал Исайка, не совсем, впрочем, доверяя счету приятеля, так как и бодрый вид его и тон голоса далеко не соответствовали количеству такого количества ударов.

— И лупцевали ж, я тебе скажу, Исайка. Особенно этот дьявол Чекушкин наваливался... Из-за вчерашнего пьянства. Сказывали: сгрубил вахтенному начальнику... А я, хоть

убей, не помню... Ты, брат, мази своей приготовь. Ужо попрошу товарища спину вымазать.

Исайка умел готовить какую-то мазь, облегчавшую, по словам матросов, боль в спине после наказания, и многие пользовались Исайкиной мазью.

— Как просвищут «отдыхать!» — приготовлю. Фершал припасу даст, — отвечал Исайка и как-то боязливо спросил: — А очень больно?

Лицо Исайки имело такой страдальческий вид, что со стороны можно было подумать, будто наказанный был Исайка, а не Рябой, загорелое, грубое и смелое лицо которого, полное выражения какой-то бесшабашной удали, с бойкими, добродушно-плутоватыми серыми маленькими глазами, не имело в себе ничего страдальческого.

— Затем, братец ты мой, и порют, чтоб было больно! А ты думал так, здря? — отвечал, усмехнувшись, Рябой... — А уж я подлецу Чекушкину на берегу морду искровеню, будь спокоен, даром что унтерцер. Тесто из его хайла сделаю! — неожиданно прибавил матрос.

И обыкновенно добродушный взгляд загорелся злым огоньком.

— Ай, ай, Иваныч! За что?

— А за то, чтобы он, живодер, не старался! Ты бей, коли твоя должность такая собачья, по форме, а не зверствуй над своим же братом!

— Хуже будет, Иваныч. Он тебе после припомнит, если опять...

Исайка деликатно не доканчивал и, вздыхая, прибавлял:

— Все из-за вина.

— То-то из-за вина, Исайка. Ты вот башковатый человек, а не поймешь, что матросу надо погулять... Без вина, братец ты мой, совсем бы служба опаскудила... Ты это возьми в толк, Исайка.

— Отчаянный ты, Иваныч... Ничего не боишься... Сто линьков?.. Ай, ай! И как ты только выдерживаешь?

— Шкура-то пообилась. И не такую плепорцию, слава богу, выдерживал! — не без хвастливости говорил Рябой. — Небось унижаться перед ими, подлецами, не стану, коли они за беспамятство с тебя шкуру сдирают. Сгруби,

значит, я тверезый — запори насмерть, это правильно, а с пьяного разве можно взыскивать?.. Разве это по совести?..

— Совесть-то люди давно забыли, Иваныч, — раздумчиво говорил Исайка.

— То-то и есть. Люди забыли, и я, значит, пьянствую... Пори, сделай милость... Пори только с рассудком, не наваливайся!.. Я и три сотни приму и в лазарет не лягу!

— Ишь ты! — шептал Исайка и с каким-то почтительным изумлением взглядывал на Рябого...

— А ты небось, Исайка, и пятидесяти линьков не примешь? И от такой малости из тебя дух вон. Уж вовсе ты щуплый, Исайка! — смеялся Рябой, посматривая на тщедушную фигуру Исайки с снисходительным сожалением здорового крепкого человека.

Исайка жмурился от страха при этих словах и взволнованно, с какою-то необыкновенной серьезностью в голосе произносил:

— А срам? От одного срама помереть можно... И-и-и!

И Исайка даже взвизгивал.

— Какой срам? — недоумевал Рябой. — Это

ты, Исайка, со страха мелешь!.. Ежели кому срам — так тому, кто человека не жалеет и за всякую малость велит тебя полосовать... Тому так срам... А матросу никакого срама нет... Бог-то ему за то на том свете все грехи простит... Потому — матросик все стерпел.

На этом пункте Исайка никогда не сходил-ся с Рябым, и тут они друг друга совсем не понимали.

Сблизились они лет семь тому назад совсем неожиданно и по особенному случаю.

Оба они были в одной роте на берегу и оба в летние морские кампании плавали вместе на восьмидесятичетырехпушечном корабле «Поспешном», но отношения их друг к другу были холодные и даже не особенно дружеские. Тихий и мирный Исайка хоть и преисполнен был почтительного уважения к бесшабашной удали лихого матроса, считавшегося первым марсовым на корабле, но его грубый разгул на берегу, его не особенно щекотливые понятия насчет способов добывания денег на выпивку, слухи о том, что Рябой будто бы в темные осенние ночи уходит из казармы и не прочь в глухом переулке ограбить

запоздавшего офицера, — все это далеко не располагало Исайку к забулдыге Рябому. И тот, в свою очередь, смотрел на Исайку с некоторым презрением как на «поганого жида» и вдобавок отчаянного труса. Однако никогда не задира́л его, считая это ниже своего достоинства... Стоит ли Исайка того?

Однажды, отпущенный в воскресенье со двора, Рябой поздно ночью был приведен в казармы в бесчувственном состоянии и почти голым. Сапоги и казенная шинель были пропиты Рябым. Даже и он оробел, когда, проснувшись на следующее утро, узнал, что случилось. В роте тотчас же стало известно, что Рябой пропил казенные вещи, и все говорили, что за это его отдерут «форменно», как Сидорову козу, меньше как пятьсот розог за такое дело не дадут — шинель новая.

Фельдфебель несколько раз съездил Рябого по уху, больше для соблюдения своего престижа, чем для вразумления такого отпетого человека, — что ему, мол, от боя! — и обещал скрыть от ротного командира до вечера, если Рябой добудет шинель.

А он даже не помнит, за сколько она была

оставлена в знакомом кабаке, где Рябой постоянно пьянствовал. И как добыть шинель? Где достать такие деньги?

— Придется, видно, шкурой заплатить за шинель, Авдей Трифоныч! — объявил он развязным тоном, стараясь скрыть перед фельдфебелем свою душевную тревогу.

— В этом не сумлевайся, блудящий кобель, пьяная твоя рожа! Отполируют тебя, подлеца, начисто, во всем аккурате... Проймут и твою барабанную шкуру, не бойся. А то, пожалуй, еще и под суд отдадут, попадешь в арестантские роты... Как ротный на это дело взглянет... Не в первый это раз ты казну объегори-ваешь...

Старик фельдфебель (он же боцман первой вахты на «Поспешном») говорил, по-видимому, суровым, бесстрастным тоном, прибавляя ругательства без всякого увлечения. Однако в его глазах светилось участие. Уж очень уда-льный и бесстрашный был марсовой, этот забулдыга и пьяница!

— Уж ты попытай, извернись как-нибудь, беспардонный дьявол, а я до вечера доклады-вать не буду! А дальше не могу. Сам службу

понимаешь! — прибавил не без теплой нотки в голосе старик и словно бы оправдываясь.

— Спасибо и на том, Авдей Трифоныч, но только уж все равно с утренним лепортом доложите ротному... Чего еще ждать?

— А ты форцу на себя не напущай, не куражься... Небось вспышка будет отчаянная... Да и вовсе пропасть можешь... Попробуй, говорю... Или еще не проспался, сучий ты сын? Слышь: до вечера ротному не доложу.

Исайка, уже давно сидевший в своем уголке за работой, прослышал про то, какая грозила беда Рябому, и лицо его отразило жалость и в то же время какую-то внутреннюю борьбу. Так просидел он, ожесточенно двигая шилом, минут пять и наконец, полный решимости, встал и пошел на другой конец казармы, где угрюмо сидел Рябой.

— А что я тебе скажу, братец, — проговорил своим тоненьким голоском, слегка нараппев и несколько таинственно Исайка, подходя к Рябому.

Рябой вопросительно поднял на Исайку злые глаза и равнодушно опустил их.

— Знаешь, что я тебе скажу?

— Ну что пристал: «скажу да скажу»? Ска-
зывай.

— За сколько ты пропил шинель?

— А тебе что?.. Чего лезешь?

— Ты только скажи, а мне есть дело! —
продолжал Исайка и одобрительно и ласково
подмигнул глазом.

— А черт его знает за сколько?

— Гмм... Денег не брал?.. Пил только. А
много ты примерно выпил?.. Штофа два?

— И полведра вали. Я ведь не жид, а хре-
щенный.

— Ай, ай, полведра! — ахнул Исайка.

— Да ты к чему это гнешь?.. — уже мягче
спросил Рябой, взглядывая на Исайку и пора-
женный необыкновенно участливым выра-
жением его лица.

— Хочу шинель твою достать! — кротко
промолвил Исайка. — Объясни, в каком каба-
ке ты ее оставил. А уж я шинель принесу.

— Ты? — выговорил только Рябой.

И больше не мог в первое мгновение ни
слова прибавить, тронутый до глубины души
этим великодушным предложением.

— Век не забуду, Исайка! Вызволил! — на-

конец дрогнувшим голосом проговорил Рябой и, вероятно желая выразить свои чувства во всей полноте, прибавил: — Жид, а какой добрый!

Исайка чуть-чуть усмехнулся от этого complimenta и стал расспрашивать, где кабак, в котором Рябой вчера пьянствовал.

Рябой подробно объяснил и смущенно прибавил:

— Только целовальник сдерет... Пожалуй, рублей пять заломит!

На физиономии Исайки появилось деловое выражение кровного еврея, собирающегося сделать коммерческое дело, и он снова подмигнул глазом, на этот раз не без некоторого лукавства, и сказал:

— Небось Исайка будет торговаться. Исайка лишней копейки не даст.

Он тотчас же отпросился у фельдфебеля со двора и отправился в указанный Рябым кабак.

Прожженный молодой ярославец-кабатчик, увидев Исайку, вопросительно повел на него глазами. Исайка деликатно объяснил, что пришел за шинелью Ивана Рябого.

— А деньги принес?

— Вам сколько денег?

— Семь рублей, — не мигнув глазом, отвечал кабатчик.

— Не много ли будет? — прищурив глаза, протянул Исайка.

— А много, так уходи.

— Я бы и ушел, да товарища жалко... Вы сами знаете, казенная вещь... Ему достанется... Казенная вещь — царская... Как ротный узнает, что вы у матроса взяли царскую вещь, большие неприятности выйдут... Ай, ай, ай! какие неприятности!.. Полиция и все такое. Царская вещь не может пропасть. — И Исайка с серьезным видом покачал головой. — Рябой приказал отдать полтора рубля и просить шинель и сапоги... А уж затем, как вам будет угодно! — прибавил Исайка равнодушным, казалось, тоном и сделал вид, будто собирается уходить.

— Да ты постой...

— Извините!.. Мне некогда... Я казенный человек. Меня сам господин фельдфебель послал, Авдей Трифоныч — извольте знать? Он тоже у вас вино берет. «Ходи, говорит, Исайка,

за шинелью, чтоб не было, говорит, неприятностей».

Начали торговаться. Исайка несколько раз выходил из кабака и возвращался, желая сбечь свои кровные деньги, которые он хранил как зеницу ока. И было-то у него прикоплено всего-навсего рублей двадцать от двугривенных, которые ему давали — и то не всегда — за его работу.

Наконец шинель и сапоги были выкуплены за два рубля двадцать копеек, и Исайка, завернув вещи в узел, ушел, веселый и торжествующий, из кабака, не обращая никакого внимания на то, что обозленный сиделец выругал его вслед подлой жидовской харей.

С этого дня Иван Рябой и Исайка сделались большими приятелями, хотя и не совсем понимали друг друга.

Много ума, осторожности, изворотливости и такта нужно было Исайке, чтобы за шестнадцать лет своей службы в те старые жестокие времена уберечься от наказаний. Но Исайка с первых же дней службы был так усерден, так безукоризненно вел себя, так старался, что решительно не было возможности к нему и придраться. Да и невольно жаль было как-то этого безответного, боязливого, смиренного и совсем тщедушного человека с большими кроткими глазами. Когда в первый год службы какой-то унтер-офицер избил Исайку, Исайка так горько плакал целую ночь, что даже унтер-офицер, избивший его, почувствовал нечто похожее на угрызения совести.

Вдобавок Исайка, по неспособности к строевой службе состоя в мастеровых, находился и вдали от глаз начальства на корабле. Ближайших начальников у него было только двое: шкипер-офицер из бывших боцманов да подшкипер, с которыми Исайка умел отлично ладить и задабривать их при случае. А прочее начальство, особенно строгое с матросами, до

него и не касалось. Сиди себе в подшкиперской и чини паруса да выходи наверх лишь во время авралов.

Помимо того что Исайка что называется из кожи лез, отличаясь безустанной работой и безукоризненным поведением, он, как человек умный и наблюдательный, знал, чем взять, кроме усердия. На берегу он постоянно шил и ротным своим командирам и фельдфебелям сапоги, обшивал их жен и детей, а летом то же самое делал для шкипера и его помощника — разумеется, даром. И все обходились с Исайкой ласково, считая его золотым человеком. На всякое ремесло он был мастер. Раз даже игрушку хорошую сделал и поднес сынишке экипажного командира, супруге которого, конечно, шил башмаки.

Исайка каждый день благодарил бога, что служба, которой он так боялся вначале, оказалась для него не особенно страшной, — море только его пугало! Но уж служить оставалось немного. Года через четыре его, наверное, уволят в бессрочный отпуск, и тогда конец этим вечным страхам! Вольный человек!

И он иногда мечтал, как будет жить посто-

янно на твердой земле, займется мастерством в Кронштадте, где его все знают, и заживет себе спокойно и тихо, как следует честному еврею.

Одно обстоятельство только смущало Исайку в последнее время. Он был неравнодушен к одной матросской вдове, известной на Кронштадтском рынке, где летом она торговала зеленью, а по зимам имела ларь с разным мелочным товаром, под именем «рыжей Анки». Эта рыжая Анка, здоровая и толстая баба лет тридцати пяти, с широкими бедрами и рыхлым лицом, покрытым веснушками, тоже посматривала на Исайку своими голубыми лукавыми глазами не без вызывающего кокетства. Ее любовник матрос ушел на три года в «дальнюю», и она была свободна. А Исайка был обстоятельный человек и умел давать ей отличные советы по части торговли. Без него у нее едва хватало на хлеб да на квас, а как он с ней познакомился — совсем другой оборот вышел. Умень Исайка на торговлю — откуда только выдумка шла. И башмаки ей великолепные сделал, и в долг на покупку товара десять рублей дал!

И Анка не прочь была бы связаться с «жидом» — пусть на рынке смеются, наплевать. И то уже смеются!

Но Исайка не делал решительных авансов, не имея смелости признаться Анке в своей склонности. Да и согласится ли она жить с жидом? О браке Исайка, разумеется, и не думал.

По всей вероятности, робкий Исайка так бы и остался тайным вздохателем, если б в начале лета, когда уже «Поспешный» вытянулся на рейд, Исайка однажды утром в воскресенье не зашел купить у Анки на копейку луку.

Выбрав пучок и порасспросив Анку о делах, Исайка хотел было уходить, как Анка, заглянув в глаза Исайки, лукаво спросила:

— Только луку тебе от меня и надо, Исайка?

— Чего ж я смею, кроме луку, Анна Спиридоновна? — значительно протянул Исайка...

— Чего?.. Ах ты, лукавый Исайка! — рассмеялась Анка и нежно прибавила: — Нечего на корабль идтить; ужо приходи ко мне пить чай!



С того дня Исайка стал чаще съезжать на берег, и когда «Поспешный» ушел в море, Ис-айка принялся шить Анке самые фасонистые башмаки и написал ей два письма, в которых с трогательным красноречием изливал перед ней душу, закончив деловыми советами на-

счет зимней торговли, которую уж они вели
теперь сообща после памятной покупки пуч-
ка лука.

VI

Ах, как не хотелось Исайке идти на следующее лето в море!

Ему не хотелось расставаться с рыжей Анкой, к которой он серьезно привязался, но главное — его тревожило назначение нового командира экипажа и корабля «Поспешного». Про него ходили неутешительные слухи — как об отчаянном «мордобое», который, командуя фрегатом, порол без всякой пощады, и когда пылил, то был ровно бешеный. Об этом только и было толков среди матросов, и даже Иван Рябой как-то сказал Исайке, что бросит пить...

— Зверь, сказывают!

И действительно, это лето Исайке пришлось чуть ли не ежедневно улепетывать вниз и забиваться в угол, вздрагивая от ужаса. Почти ни одного ученья не проходило без того, чтобы не было экзекуций. Наказывали по несколько человек. Капитан требовал, чтобы матросы работали «как черти», и если, например, паруса крепили не в три, а в три с половиной минуты, то всех опоздавших марсо-

вых и с их унтер-офицерами пороли линьками. В те времена было щегольство на быстроту работ, и каждый капитан хотел отличиться. Это был особенный морской шик.

Все это плавание Исайка постоянно находился в каком-то напряженном состоянии страха и особенно боялся авралов, когда и ему приходилось выбегать наверх и видеть этого высокого широкоплечего человека с суровым красным лицом, стоявшего на юте, расставив ноги, и грозно посматривавшего на работы. Мертвое молчание царило в такие минуты на палубе. Матросы старались изо всех сил, взлетали как бешеные по вантам, разбегались, точно по гладкому полу, по реям и крепили паруса с лихорадочною поспешностью страха. Какой-то трепет чувствовался всеми, не исключая и боцманов. И офицеры с испуганной озабоченностью стояли у своих мачт, поднявши кверху головы, и лишь изредка тихо ругались, заметив, что где-нибудь работают не так скоро или какая-нибудь снасть «заела», то есть не идет.

И этот один человек, заставлявший всех трепетать, радовался, что в два месяца так

«подтянул» всех. Лицо его светилось довольной улыбкой, когда паруса «сторали» или когда на артиллерийском ученье большие орудия откатывались, как легкие игрушки, в руках надрывававшихся матросов...

Но случалось — и нередко — лицо капитана вдруг багровело, глаза наливались кровью, и он с поднятыми кулаками, точно иступленный, кидался вниз, неся на бак и бил боцманов, бил попавшихся под руку матросов, оглашая воздух ругательствами.

— Запорю! — кричал он, не помня себя от ярости.

Оказывалось, что на баке громко разговаривали или не скоро убрали кливеров...

В такие минуты Исайка замирал от страха.

Плавание уже кончалось, к общей радости матросов и офицеров. «Поспешный» возвращался под всеми парусами в Кронштадт с попутным брамсельным ветром из Балтийского моря.

У Гогланда налетел шквал, и по оплошности вахтенного офицера, не убравшего вовремя парусов, разорвало фор-марсель в клочки.

Капитан рассвирепел и напустился на

офицера, грозя его отдать под суд. Засвистали менять фор-марсель. Подшкипер бросился в подшкиперскую и второпях указал прибежавшим матросам не на тот марсель, какой надо было взять, а на другой, еще требовавший починки. Никто этого не заметил. Не заметил и Исайка.

Минут через восемь разорванный марсель был отвязан и принесенный — в виде огромного длинного свернутого узкого мешка — привязан. Его распустили, и — о ужас! — несколько дыр зияло на парусе.

Исайка увидал и стал белей рубашки.

Капитан уже был на баке.

— Подшкипера сюда... Парусника!..

Подшкипер и Исайка стояли перед капитаном.

— Ты парусник? — спросил капитан, вперя налитые кровью глаза на дрожавшего как лист Исайку и окидывая его уничтожающим взглядом.

— Я, ваше высокоблагородие! — едва пролепетал Исайка.

— Ты, подлец? Боцман! В линьки его! Сию минуту.

Исайка затрясся, точно в лихорадке. Зрачки глаз расширились. Судороги пробежали по его лицу...

— Ваше высокоблагородие... Я не... не виноват.

— Не виноват?! Эй!.. Спустить ему шкуру!.. Он не виноват!.. — бессмысленно повторял капитан.

Уже два унтер-офицера подбежали к Исайке, чтобы взять его, как вдруг Исайка бросился в ноги капитану и, конвульсивно рыдая, говорил:

— Я не могу... ваше высокоблагородие... помилуйте... ваше...

Было что-то раздирающее в этом отчаянном вопле. Стоявший тут же старший офицер отвернулся. Матросы потупили глаза. Мертвая тишина царила на палубе.

Эта мольба, казалось, привела капитана в большую ярость. Он брезгливо пнул расprostертого Исайку ногой и крикнул:

— Взять его... Показать, как он не может!

Но в эту минуту Исайка уже вскочил на ноги, и это был уже совсем не прежний кроткий Исайка.

В его мертвенно-бледном лице со сверкающими глазами было что-то такое страшно-спокойное и решительное, что капитан невольно отступил назад...

— Так будь ты проклят, злодей!

И с этими словами вспрыгнул на сетки и с жалобным криком отчаяния бросился в море.

Матросы оцепенели в безмолвном ужасе. Капитан, видимо, опешил.

Иван Рябой, отличный пловец, в одно мгновение был за бортом. Но Исайки уже не было на поверхности! Он как ключ пошел ко дну.

— Эка жидюга проклятая! — наконец проговорил капитан и велел лечь в дрейф и спустить катер, чтобы спасти Рябого.

Матросы крестились.

Примечания

В те отдаленные времена, в начале тридцатых годов, на суда флота назначались малообразованные, нигде не окончившие курса монахи для исполнения треб. Впоследствии выбор делался более тщательно. (Примеч. автора.)

[^^^]